

Иероним Иеронимович Ясинский

Роман моей жизни. Книга воспоминаний

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 50
ББК 22
Я81

Я81 **Ясинский И.**
Роман моей жизни. Книга воспоминаний / Иероним Иеронимович Ясинский – М.: Книга по Требованию, 2024. – 360 с.

ISBN 978-5-521-39887-4

ISBN 978-5-521-39887-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

1850 — 1854.

Мое первое впечатление: я на руках; рядом — белокурая голова, и тут же черноволосая, обе показывают зубы; прямо, на поющем ящике, перед окном, вертится человечек в красной курточке.

Потом все погасло.

Я не знал, что именно я видел, но ярко запомнилась картина.

И только впоследствии, оглядываясь назад, я расчленил ее: белокурая голова — был мой отец, черноволосая — мать; они улыбались; человечек в красной курточке — мартышка, плясавшая на шарманке.

Мать изумлялась, когда я спрашивал ее, уже будучи большим мальчиком:

— Что это был за человечек?

Она возражала:

— Но тогда тебе было полтора года.

Происходило это в Харькове, где я родился 18 апреля 1850 года.

Снова проснулось мое сознание приблизительно через полгода (отец с матерью переезжали из Харькова в село Подбелово, Черниговской губернии, Мглинского уезда): я на руках опять у белокурого, делавшего страшные гримасы. В ответ слышу свой пронзительный крик и звук от града шлепков, сыпавшихся на мою спину.

В комнате — полумрак. На стене такой же белокурый человек держит мальчика, широко раскрывающего рот и багрового от натуги, и шлепает его.

С потолка спускался какой-то огромный желтый паук — древняя люстра. Трясли и шлепали мальчика в зеркале. Я крайне заинтересовался и на время замолчал.

И опять все погасло. Пожалуй, года на полтора.

Начиная же с трех лет я помню себя почти без перерыва. И незначительные куски жизни стали выпадать из моей памяти только после пятидесяти лет.

Впрочем, предметная память никогда у меня не ослабевала, а имена собственные и числа запоминались и запоминаются туго.

Чувство же личности — в ее непрерывности — началось у меня во сне.

Около четырех лет было мне, когда приснилось озеро, на котором плавали ветряные мельницы, и вместо крыльев на них были зонтики, которые складывались и распускались. Стало страшно. Я закричал, и отец взял меня к себе в постель.

А утром посадил впереди себя в седло и поскакал по гористой дороге. Направо блеснуло озеро, и я все ждал, что увижу мельницы и те же зонтики. Но, вместо фантастических мельниц, увидел водяную, с колесом, по которому с шумом бежала вода, и вертела его. Совершенно белый, точно вырезанный из мела, мужик спустился по лесенке навстречу отцу, снял меня, выпачкал мукою и принял лошадь. Я очутился с отцом в залитой солнцем комнате. Отец был ласков с мельником и с высокой полногрудой девушкой, которая взяла меня на руки и целовала.

В первый раз я увидел разницу между собою и взрослыми: все они были такие великаны.

Когда мы прискакали домой, то и собаки тоже оказались необычайной величины. И свиньи и коровы стали необъяснимо громадны. Я начал сторониться и бояться.

Маленький деревенский домик с сенями, которые летом превращались в столовую; небольшой фруктовый сад, где по торжественным дням отец зажигал разноцветные фонарики, и скотный двор с великанами — свиньями и баранами — были колыбелью моего раннего детства.

Раза два в год меня чуть свет будили, одевали в шелковую рубашечку и везли в церковь, а затем кормили сладостями. Раза два в году у нас бывали гости. По аллеям, озаренным цветными огнями, ходили господа в высоких галстуках, с острыми белоснежными воротничками, упиравшимися в бритые щеки, и дамы в модах начала пятидесятых годов: в легких платьях, в лифах с мысами и юбках с воланами, в буклях, в люконах, в больших черепаховых гребнях над затылком.

Развлекали меня и казались забавными еще ссоры отца с матерью, происходившие почему-то большею частью за столом. Мать хватала тарелку и разбивала ее у себя на голове; отец брал другую тарелку и чрезвычайно искусно поступал с нею так же трагически. Таким образом погибала иногда не одна пара тарелок. Как-то меня до того заняла эта игра с тарелками, что я в восторге закричал: «Еще, еще»... и получил первую затрепщину.

Думают, что маленькие дети, занятые собою, своим детским мирком, и крохотными детскими интересами, ничего не видят, ничего не замечают, не переживают впечатлений, которые достигают до них из мира взрослых. Конечно, мир этот не целиком преломляется в душе у ребенка, но во всяком случае, своеобразно, и степень его преломляемости зависит еще от качества призм.

В Подбелово приезжала к нам кн. Урусова, крестившая сестер моих — Катю и Сашу. С появлением на свет этих прелестных девочек сопряжённо мое воспоминание о пребывании в доме нашем страшной женщины в зеленом капоте, с руками в крови и с движениями летучей мыши. Когда она исчезала, появлялась, как добрая фея, кн. Урусова, благоухала, светло улыбалась, одаряла мать игравшими радугую шелковыми материями — «ризками», а малюток — золотыми крестиками на розовых лентах. На кухне бойко стучали ножи, в сенях, на льду, вертелись мороженицы.

В теплые месяцы всей семьей в присылавшемся за нами рыдване езжали мы гостить к кн. Урусовой на целую неделю.

У ней дом был залит солнцем, украшен картинами, статуями, мебелью с бронзовыми накладками; в зале белели колонны с золотыми капителями, сверкали хрустальные люстры; сама она была красивая, полная, всегда в белом платье и в локонах. Гремела музыка, плясали нарядные гости.

На паркете со мною однажды случилось несчастье: я поскользнулся и упал. Меня схватили ласковые руки и унесли.

Так как мне дома все грозили розгами, хотя еще не принимались сечь (секли только прислугу), то я вообразил, что меня несут, наконец, пороть, и разревелся. Но меня заласкали, закармлили конфетами, умыли, причесали и в столовую вывезли на высоком стуле на колесиках.

Вернувшись домой, я все мечтал о высоком стульчике, пока княгиня, узнавши об этом, не прислала мне его в подарок. Вместе с несколькими игрушками это было моей первой собственностью. Игрушки умирали и исчезали бесследно, а высокий стул долго хранился.

Знаменательно, что страх перед розгами в усадьбе княгини Урусовой, повидимому, был не чужд и не одному только мне. Отец за столом рассказывал матери, что княгиня, когда он бывает у ней один, любит лежать в постели, в алькове, полураздетая, а он декламирует ей стихи или играет на фисгармонии, и так он понравился княгине, и так она на него смотрит, что он чуть не сделал ей «декларации», но боится: «а вдруг она сочтет за дерзость и велит меня высечь на конюшне». «И я поэтому остаюсь тебе верен, душенька», заключил отец.

Мамаша была женщина в высокой степени нравственная в том смысле, в каком понималась нравственность в ее кругу; но ей лестно было бывать в аристократических домах, и она не осудила княгиню, как часто осуждала дворянок попроще за тот или иной фальшивый шаг, и даже отцу не поставила в вину его легкомыслие.

Тогда было две нравственности. Гражданский брак мамаша считала чуть не подлостью и от всей души презирала девушек, вступивших в союз с любимым человеком без благословения церкви. В то время иногда уже заключались такие союзы, вольные, а чаще всего невольные. Гувернантки, чуть не девочками приезжавшие

из института в дворянские берлоги, часто становились жертвами помещичьего каприза, может-быть, и чувства. Грешницам, все равно, пощады не было. Но не грешникам. Отец с матерью не стеснялись, напр., бывать в селе Ущерпье, во дворце графини Завадovской, великолепный управляющий которой, тоже граф, жил во внебрачных союзах с целым гаремом.

Точно также в открытых внебрачных связях с наемными барышнями и с собственными крестьянками, предварительно хорошо воспитанными, состоял такой барин, как Иван Петрович Бороздна, кум мамашин, известный в то время поэт, о котором благоприятно отзывался Белинский. Бывать у него мать тоже не считала зазорным.

Вообще было странное время, во многих пунктах теперь уже непонятное. В самых порядочных дворянских домах — средней, впрочем, руки — было принято присылать девочек-подростков, а иногда и постарше, к заночевавшим гостям — «чесать пятки». В числе послеобеденных развлечений не считалось предосудительным, возмутительным и гнусным кушать на балконе усадебного дома мороженое, курить пахитоски и смотреть вниз на то, как на некотором расстоянии от балкона секут розгами самым постыдным образом лакея или горничную. Те неистово кричат, а дамы, как ни в чем не бывало, возбужденно и весело беседуют на смеси французского с нижегородским, а иногда и на настоящем французском, быть-может, о Жорж Данд, о Мюссе или о других литературных и художественных новинках.

Родители, возя меня с собою по усадьбам (из любви ко мне или по другим соображениям, боялись одного оставить дома, чтобы я не стал обижать сестер или не подвергся «развращающему» влиянию нашей мелкой дворни), не подозревали, что в моей детской душе откладывается и накапливается таким образом запас впечатлений, так или иначе болезненно отражающихся на мне.

Эти впечатления становились еще болезненнее в тех случаях, когда отец, по просьбе матери, брал меня с собою, уезжая куда-нибудь один без нее. Повидимому, у мамыши был расчет стеснять мною родителя, которого она до того часто обвиняла, шутя и серьезно, с истерикой и без истерики, в «бабничестве», что я, наконец, уже в пятилетнем возрасте стал понимать до некоторой степени значение этого странного термина, и по временам, капризная, ругал нашего старого слугу Михеича «бабником».

Тут я должен пояснить, кем был и что делал мой отец, помимо владения маленьким имуществом, которое было взято им, в конце концов, в приданое за матерью.

По происхождению он был поляк и, как все поляки, разумеется, с длинной родословной. Его предки ходили на Москву с Салегою, причисляя себя к литовцам. Имение их с «будинком», который они называли замком, находилось в местечке Свиринтах Виленской губернии. В числе предков были сеймовые депутаты, судьи

и, между прочим, принявший православие, отец известного киевского митрополита и духовного писателя Варлаама Ясинского. В ближайшем родстве состоял отец и с Якубом Ясинским — был его племянником. Якуб Ясинский — польский сатирик и сподвижник генерала Костюшки. А еще раньше, если верить родословной, бытие роду Ясинских дал боярин Ясыня, упоминаемый историей и служивший у Даниила Галицкого (или, может-быть, даже половец Ясин, убивший Андрея Боголюбского).

Все эти данные преисполняли моего отца великим польским чванством, что не помешало ему многие знаменитые семейные документы держать на чердаке, а родословную, на пергаменте, переплетенную в книжку, подарить профессору Рейпольскому, прославившемуся в Харькове в сороковых годах своими чудачествами. Как теперь помню, дипломы на толстой бумаге, снабженные огромными висячими печатями, кудревато подписанные Александром I, которые получал мой дед и которые возвещали награды чинами и деньгами за особые услуги, оказанные им по управлению западными почтовыми дорогами во время нашествия Наполеона. Эти документы и другие расхищались дворовыми мальчиками, как никому не нужные, и мне из них клеили эмеев.

Впоследствии, взысканный милостями Александра I, дед мой, в польское восстание 1831 года, оказал, в свою очередь, важные услуги революционной армии Дембинского и Хлопицкого и в своем доме в Волковыске оборудовал госпиталь, а в обширном каменном подвале этого дома долго скрывал каких-то польских героев и за это был сослан в Чугуев простым почтмейстером.

И вот почему отец мой очутился в Харьковском университете, мало-по-малу обрусел и, имея вечерние занятия в канцелярии генерал-губернатора князя Долгорукова и бывая у него на балах, на который возили оканчивающих институт, встретился и сошелся с Ольгой Максимовною Белинскою, дочерью харьковского помещика, артиллерийского полковника Максима Степановича. Максим Степанович Белинский долго не хотел выдавать дочь за моего отца. Но что-то случилось, для меня не ясное — мать не все рассказала мне, — что повлекло за собою увоз девушки через окно; и венчанье с нею на скорую руку, без соблюдения обычного в то время свадебного пиршества, положило тень на всю последующую жизнь мамаша, как она горько жаловалась мне.

Отец был медик, но женитьба не позволила ему окончить университет.

Будучи студентом и назначенный дежурить при царе Николае I, когда тот приехал в Харьков и посетил университет, отец обратил на себя внимание генерал-губернатора, и, в виду его бедности, ему предоставлена была переписка по вечерам каких-то бумаг, — отец к тому же обладал калиграфическим почерком. Когда же он женился, и надо было содержать жену, генерал-губернатор совсем определил его к себе в канцелярию младшим чиновником.

Мое рождение примирило кое-как Максима Степановича с дочерью, и ей дано было приданое, хотя далеко не такое, какое получили другие сестры мамаша. Отец же, поселившись в Подбелове, по приказанию генерал-губернатора был сделан становым приставом, на обязанности которого лежали в то время какие-то неудобноносимые бремена. Он был начальником полиции огромного участка и начальником кордона (что-то в роде таможенной заставы), и судьей, и следователем, и посредником между крестьянами и помещиками, и статистиком, и чуть ли не жандармом. У него был конный отряд и целая сеть полицейских подчиненных — помощников приставов, сотских, десятских; но он нагонял страх только, разумеется, на мещан и на крестьян и находился сам во власти у дворянства.

Хотя он не кончил курса, но славился в уезде, как искусный «доктор»; даже уездный врач приглашал его на консилиумы, и, может-быть, в самом деле у него был дар угадывать сразу болезнь. Лекаря говорили, что он диагност по призванию и далеко пошел бы, если бы не бросил университета.

Вообще же у него было несколько призваний: он был великолепным танцором, участвовал в любительских балетах, пел тенором и баритоном, превосходно играл на флейте и мог целые часы острить и импровизировать — так и сыпал рифмами, одушевляемый дамским обществом.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

1854 — 1855.

Когда мы из Подбелова перебрались в Клинцы, в большой каменный дом, пиры следовали у нас за пирами, гости не переводились. Кроме соседей и разных уездных и губернских властей, посещавших расточительного отца, любившего радость, свет, женщин и пышную, не по средствам, жизнь, у нас перебивали все офицеры, шедшие со своими полками в Севастополь. Дом дрожал от грома мазурок и духовой музыки.

В гостиной сидят, бывало, в пышных шелковых и тарлатановых платьях дамы, любительницы мороженого и крепостных спин, и весело щебечут, а отец «волочитя», как тогда выражались: лежит на ковре у очаровательных ножек — сам хваставший изящно обутою в бархатную ботинку маленькою ногою — и говорит стихи собственного «внезапного» сочинения. . .

Но кроме того, что он был светским молодым человеком, ухаживателем, администратором, судьей, он был еще хорошим адвокатом: о нем говорили, как о человеке выдающихся способностей — «у Ясинского царь в голове» — и все крупные и даже мелкие дела в уезде проходили через его руки. Он мог похва-

стать еще другими талантами: метко стрелял и любил охоту на красную и болотную дичь, а его акварельные портреты в зализанной манере, какая тогда нравилась, можно было найти в любом помещичьем доме. Все он делал легко, с налета, быстро огорчился и скоро утешался. То принимается за наведение порядка в хозяйстве, ворчит и брюзжит, то сам все опрокидывает, переиначивает и до конца не доделывает; то накупит картин и царских портретов, то все это относится на чердак, и «хороший тон» требует уже, чтобы на стенах висели только правюры; надоедали одни экипажи, покупались другие, менялись лошади, прислуга, бонны — то польки, то немки, то русские — и все хорошенькие, и кончалось быстрым изгнанием их, при чем мать набирала новый штат и тоже на короткое время — отцу не нравился педагогический вкус мамашы.

Одно время у меня был учителем немец, повидимому, малограмотный, старавшийся говорить по-русски; он ловко снимал щипцами нагар с сальных свечей и, вместо «сейчас», произносил «чичас», манеры имел тихие и пел «Под вечер осенью ненастной», коверкая слова, и пропадал в девичьей, как только уезжали родители. «Нашла» его мать и, убедившись в его негодности, долго, однако, терпела его; отец подтрунивал.

Владея голосом, отец устраивал у себя в зале католические богослужения, когда из губернского города наезжали ксендзы, а православная мамаша не признавала ксендзов, и отец называл нас москалями и кацапами. Впрочем, религиозные распри с семьей продолжались до тех пор, пока на глазах вертелись ксендзы, а как только они уезжали, в доме начиналось обрусение: мать выкуривала католический ладан православною смолкою и многочисленными лампадками, а отец учил меня каждый вечер православным молитвам. Я, как попугай, читал «Деворадуйся» и «Отче наш, иже си».

С отцом я исколесил, пожалуй, половину Мглинского и Суражского уездов. У нас были чудные лошади и крепостной кучер, которого заменил потом цыган Филипп, мрачный, никогда не улыбавшийся красивый брюнет, с серебряной серьгой в ухе, в плисовой поддевке.

В холостых помещичьих домах, у купцов, торгующих лесом на пристани, у разных подрядчиков, у графских управляющих отец не прочь был «перекинуться в картишки» — выигрывал и проигрывал большие деньги, просиживал целые часы за зеленым столом; глаза его становились красными, безумно страстное выражение разливалось по всему его белокурому лицу. Случалось, он пил, его тошнило.

Вообще тогда любили напиваться. Не один он, и прочие персонажи холостой компании, куда я попадал, перегружали себя спиртными напитками, в особенности, шампанским. И никогда я не видал столько золота, серебра и бумажных денег, как в то

время; должно-быть, огромные суммы переходили из рук в руки; проигрывали мальчиков, девочек, взрослых людей, целые имения. Помещик Коровкевич поставил на карту даже дочь и сошел с ума. Играли в карты и женщины; были картежницы, не спавшие по ночам, иступленные, неряшливые, ездившие по ярмаркам вместе с шулерами и, большею частью, погибавшие в вихре этого безумного безделья.

Обыкновенно, видя, что я плачу от скуки, отец отсылал меня к попу или оставлял у какой-нибудь сердобольной помещицы. Таким образом, я, в качестве маленького надоедливого гостя, перебивал в различных домах, где на меня скоро переставали обращать внимание, где я нарушал законы дворянских приличий, убегал «на деревню», сливался с дворней, ночевал в избах. Меня разыскивали, находили, приводили в первобытное состояние, и я попадал вдруг в блестящую обстановку, с лакеями, с музыкой, с кадрилями и польками, с мазурками и галопами.

С самого раннего возраста, благодаря моей прирожденной наблюдательности, я узнал многое из того, что, обыкновенно, для иных благовоспитанных детей скрыто надолго, если не навсегда. При мне взрослые дворяне и дворянки жаловались на распущенность и безнравственность крепостных мужиков, а мужики жаловались на господ и обвиняли их в разных несправедливостях и гнусностях. Если что оставалось туманным, подробно разъясняли мне дворовые мальчики, не потому, что они были порочны, а потому, что были сведущи в животной жизни и двуногих и четвероногих созданий.

Религиозная мать, озабоченная моим воспитанием, едва я возвращался домой, принималась обрабатывать мою душу легендами и житиями угодников. Приходили книгоноши, и мать покупала целые груды сереньких книжечек. А так как я уже в четыре года, рассматривая «Северную Пчелу» и только иногда справляясь, что означает та или иная буква, выучился, играючи, читать и даже слегка писать, то в Клинцах меня забросали этой святой литературой. Я жадно стал проглатывать то преподобного Неофита, не расстававшегося с чортом всю жизнь и до самой праведной кончины своей боровшегося с ним, то Филарета Милостивого, раздававшего бедным свое имущество и никак не имевшего возможности раздать его («С умом раздавал», поясняла мне старая няня Агафья), — то блаженного Антония, которому являлись бесы в образе очаровательных девушек, а пуще всего опасался я, чтобы не повторилось со мною то, что однажды случилось с каким-то преподобным пустынником: он осудил брата своего и вечером, ложась спать, увидел, что около него лежит чудовище, похожее на крокодила, широко раскрывшее пасть, и стучит зубами, — я же не только осуждал брата, но, случалось, и поколачивал его. Литература эта довела меня до бреда.

Однажды с дворовою девочкой Химкой я забрался в бурьян. Мы с нею там легли навзничь и стали смотреть на небеса. Был полдень, клубились облака. И вот они расступились, и показался Николай Угодник во всех своих доспехах, даже в митре, и погрозил мне пальцем. Химка не видела Николая Угодника, но стала креститься.

В другой раз с этой девочкой, проникнутой ко мне благоговением, мы забрались на сеновал и в раскрытые двери смотрели на звезды. Тут уже и ей и мне привиделся огромный огненный змей, который глотал звезды и, наконец, рассыпался сам на множество звезд и погас, так что стало темно, потому что вместе с ним погасли и небеса.

Мы очнулись, когда няня Агафья нашла нас и осыпала Химку ударами по чем попало.

Вскоре после этого я заболел чем-то в роде нервной горячки. Сначала стал бояться теней и стариков, похожих на праведников, бредил чудовищем, похожим на крокодила, и видел человека со страшной головой, в огромной шляпе с потолочной величиною. Мать говорила потом, что я лежал без памяти больше месяца.

У отца была, как у бывшего медика, медицинская библиотека; первую светскую книгу, прочитанную мною, была «Народная медицина» Чаруковского. Когда, по тому или другому случаю, у нас бывали врачи, я вмешивался в их разговор, и мне стали предсказывать, что я буду доктором. Но как-то я заговорил о «любопытной болезни» — так назывался у Чаруковского сифилис, и мать ударила меня по губам.

Следующими книгами были том Пушкина со сказками и Уваровская «Хрестоматия», которая стала моей любимой книгой. Обыкновенно, стихи я произносил нараспев и подбирал к ним мотивы, под влиянием музыкального отца, который каждый день упражнялся на флейте часа по два, когда бывал дома. Обниму собаку Норму, заберусь с нею на чердак, лежу на какой-нибудь запасной перине и пою: «В шапке злого литого» или «Луна, печальный друг» и довожу себя до слез, а Норма начинает жалобно подвывать.

Мне было пять лет, когда умер Николай I. Отец, как официальный местный властодержец, собрал в своем доме именитых граждан посада Клинцов. Случайно присутствовал и помещик Бороздна. Он «отмахнул мух» от груди и произнес растроганно: «Что же теперь будет с Россией?». Очевидно, он искренно был оторчен смертью человека, который так, можно сказать, самоотверженно стоял на страже интересов бесчисленных русских деспотов, мучителей и грабителей. Именитые граждане в ответ вздохнули. Были они, большею частью, раскольники, а потому преследовались при Николае. Помню, у нас в подвале скрывалось два толстейших мужика в подрясниках; вечером они выходили из своего убежища и на виду у отца, потешая его, тягались друг

с другом держась за толстую железную кочергу, пока она не гнулась, — силы были непомерной. Полагать надо, отец недаром скрывал их у себя и недаром пользовался в посаде репутацией доброго начальника.

Когда Бороэдна опечалился и произнес: «Что теперь будет с Россией», я, схватившись за юбку матери, заплакал. Перед тем у нас постоянно гостили офицеры, со жгутами на плечах, вместо погон, с крестами на шапках, в кафтанах без ясных пуговиц, съедали и выпивали все запасы в доме и пугали меня, что могут притти англичане, французы и турки и взять нас в плен. Я вообразил, что предсказание ополченцев немедленно сбудется, и вместе с Россией погибну и я. Меня стали целовать за проявление столь патриотического чувства, и, чтобы утешить, отец подарил мне золотой полуимпериал. А в задней комнате работал тогда бродячий портной, молодой еврей, пользовавшийся моею симпатией. Немецкий учитель, о котором я уже рассказал, чувствуя, что его позиция в доме колеблется, хотел укрепить ее, признавшись мамаше, что он был закройщиком в Чернигове, и лишь несчастные обстоятельства заставили его очутиться в Клинцах и взяться за гувернерство. Мать поручила ему пальто из куска дорогого плюша. Учитель потребовал мелу, глубокомысленно расчертил материю и так изрезал ее, что вместо пальто или «манто» получилась, по определению папаши, поповская риза. Немца прогнали, а странствующему еврейчику поручили перекроить плюш, но портной объявил, что может выйти только кофта, уселся на столе в полутемной комнате за девичьей и занялся шитьем. Меня очень занимало, как он наматывал на иголку нитку у себя на лацкане кафтана: совсем восьмерка, или еще собачонка так бежит, когда играет. Получив золотой, я побежал к портному и подарил ему монету. На другой день за расточительность меня выдрали, а от портного золотой, к стыду моему, отобрали. Таким образом, смерть Николая I мне особенно памятна.

Точно также памятен мне день восшествия на престол Александра II. С няней Агафьей я и сестра Катя были с утра в соборе. Дорогу местные фабриканты устлали красным сукном, по которому шествовали власти: ополченский генерал Езерский, древний старец, с петушиными перьями на голове, отец в треуголке с огромною сияющею на солнце кокардою, его помощники, разные офицеры и именитые граждане. Кругом премела музыка, трещали барабаны, двигался развод, а вечером горели плошки, зажжены были фонарики, на воротах нашего дома горел большой транспарант.

Мы смотрели на улицу из раскрытого окна. Степенно катились экипажи местных богачей, запряженные сытыми лошадьми, а в экипажах сидели нарядные купчихи. Мамаше было обидно, что очень немногие раскланиваются с нею. «До чего зазнались»,